
У ПОСЛЕДНЕЙ ВОДЫ

На Черемуховом Ключе

Вот звонкоголосый Топчуган, Тасын белогривый, Бачий неугомонный — три брата. Там, на синеющей горной маковке, поспорили, кто первым к Чарышу прибежит. Бросились вперегонку с высот, забурили, запенились, подхватили родники попутные, ударили в камни, кедры с маху опрокинули, а как вырвались на простор, в долину, друг от друга отпрянули, понатужились и — все враз в Чарыш.

А у Чарыша, на Черемуховом Ключе, — селение Тюдрала. Прибыл я сюда, в горный Алтай, еще ранней весной и до сих пор опасаюсь, как бы кто из дозорных пристава с Усть-Кана не выследил меня, не распознал о моем прошлом, а оно, это мое прошлое, такое, что только угоди на глаза приспешникам власти: вынюхают, затормошат, и опять ты — в сетях неволи! Всего лишь год после бегства из-под черного надзора мыкался я с места на место и вот, наконец, забрался в дремучую глушь.

Двое суток провел я в горах и вновь в Тюдрале, на своем постое. За стенами избы знойный июльский день, а у меня прохладно, веет из-под пола прелью, из окна, с запада, льется через листву рябины нежаркий зеленоватый свет... Закрываю глаза, слушаю музыку крови, насыщенной хмелем смолистых лиственниц. Путь заворожил, заласкал до усталости сердце. Не надо людей! Лежать бы так на своем кедровом топчане и представлять себе, что ты в лесной избенке отшельника, что вокруг нетронутое таежное урочище, приют рыси да медведя. Но вот — шаги за дверью.

— Аргамай, ты?

— Э, здравствуй! Кумыс принес твоя...

Говорит Аргамай негромко, с гортанной картавинкой, посверкивая улыбочиво глазками, и на смуглом скуластом лице его, обрамленном темной бородкою, отливают снежной белизною здоровые степные зубы.

— Ну как, Ебаган нравился? — продолжал он, ступая ко мне за порог и ставя на скамью объемистую бутыль. — Кеньга нравился? Много скакал, сто верст скакал... Хребтук, гляди, разбил!..

— Есть маленько, Аргамай.

— А твоя пошто этак-то лежал? — повысил он голос, окинув меня летучим взором. — Ты рука низ, нога верх... Э, пускай кровь к скакун-сердцу льнет, к самой сердцу.

— Спасибо за совет! — откликаюсь я и вразмах сажусь на топчане. — Давай-ка, братец, кумыс пить.

Он знает, где у меня посуда, достает две глиняные кружки. Звучит пробка, белесый дымок вьется из горлышка бутылки. Крепкий напиток, как хорошее старое вино, веселит.

— Стоялый кумыс... Твоя готовил, любишь стоялый, паш, киргизский...

Слушаешь Аргамая — и чудится, будто хрипловатый голос его идет со дна кружки.

— Ну, как, давно царского бая видел? — в тоне безразличия спрашиваю я, разумея под баем местного урядника.

— К нашему баю Кульджинову в Теньгу все начальство скакал... Трое ден тамось пируют.

— По случаю чего же пир?

— А шайтан их зңай, с чего! У Кульджинова табуны коней, стада скота... Отчего ж от такой добра начальство не побаловать.

В Теньгу, что на речке Урсул, довелось и мне заглянуть проездом, и немало там наслышался я о туземном богаче Кульджинове: один такой среди немногих богатство свое сохранил в осаде русских наезжих купцов... И — удивительно! — стоит у Кульджинова в Теньге большой домина, но живет он с семьей обapol, в обыкновенной юрте, носит стародавнюю одежку; сотни целкашей на тамошнюю церковь жертвует, а сам еще с революции пятого года к белой вере Бурхана прилежен заодно с многими новокрещеными алтай-кижи, людьми Алтая.

— Когда опять гулять бежал? — спрашивает Аргамай, посасывая из кружки кумыс. — Рыжий конь дам... лютый! Скачи, чего там... Нельзя живой человек камнем в горах лежать.

«Он прав, — думал я, — прав Аргамай: хорошо в горах, да и безопасней, чем тут у всех на глазах камнем торчат!» С этой мыслью, проводив Аргамая, запасаясь куском зайчатины, краюшкой хлеба и отправляюсь пешедралом за село.

На пути — гора, плохонькая, с коричневой, обожженной солнцем подошвою. Встаю на верхи. Ошалелые под солнцем кузнечики прыгают у самых ног, среди папоротника, присаживаются мимолетом на руки, на грудь. Непрестанно слышится звенящий зуд комаров. Вокруг поляны сизая, незабудки поникшие, а вот и лысая, в пещерах, маковка.

Подо мною Тюдрала. Укрылась от рыжего солнца тесовыми своими кровлями, дымится в жгучих его лучах, а чуть подальше: слева — моральник, обнесенный высоким тыном, справа, ближе к Черемуховому Ключу, — голубоглавая церквушка в золотистом разливе пшеницы.

Бежит Чарыш, расступаются на пути у него лиственницы, а он жмет к алым скатам гор и сверкает белым полымем так, что глазам больно. В дальней дали подрагивают и будто всплывают над землей одинокие юрты алтайцев... И над всем — старая баба-гора, по прозвищу Юрта, плешивая, с темными складками лесистых склонов, с розовыми осками каменистых уемов.

Песни, сказки о горе Юрта сложены древними кожанча — поэтами Алтая. Жил давным-давно в верховьях Чарыша великий бай алтайский, и было время, когда имя его произносилось с трепетом по всему Джунгарскому княжеству до самого белоголового престола Ойротии... Одну из дочерей вождя монгольского взял себе в жены бай. Глаза у той красавицы — косули горной, косы — что водопад, со скал простертый. Полюбить такую — так на всю жизнь! Но безрассуден был в гневе ревности бай, не пощадил он красавицу, лютой предал казни, голову несчастной отцу ее послал: мстил родителю за измену дочери. Тогда собрал вождь монгольский войско и двинулся на Алтай, и бежал великий бай к низам Чарыша, и засел на неприступной вершине Юрты, в глухой пещере, да и загинул там со своими людьми без воды и пищи... Про-

изошло все это так давно, что деды уцелевших лиственниц были еще юны тогда, и нынче даже имя того бая забыто.

Спускаюсь вниз тропинкою, что бьется над глинистым островком, заросшим боярышником. Лепечет где-то в знойном бреду ручей-самотек, курятся горькие травы, веет в лицо жгучим дыханием камней. Все, как в сказке, — и это бирюзовое небо над кронами деревьев, и эта сухая, горящая земля у ног, оплетенная корнями, укрытая там и сям бледным, жадно прикипшим к ней, плющом эдельвейса. Кажется, что солнце растопилось в небе и густыми огненными волнами залило горные массивы до маковок.

К сумеркам из темных увалов начинает сквозить сыростью, а под лиственницами укладываются бурые тени. Запахи хвои, мха, гниющих листьев переплетаются с пряным духом вереска... Неторопливо пробираюсь задами улицы к себе, и, когда открываю в своей горнице окна, пестрые занавески вздуваются под тягучими волнами прохлады, как большие лопухи.

— Щец горячих охота али кваску с окрошкою? — обращается ко мне хозяйка, заглянув в полуоткрытую дверь.

— Щец, Андриановна, щец! — откликаюсь я живо.

— Можно, вот только подогрею...

В голосе пожилой женщины приветливость, но в карих глазах ее и на загорелых дотемна щеках с глубокими бороздками у рта — усталость. С утра раннего трудилась она со своим мужем и дочкою-подростком в огороде на прополке сорняка, а впереди — возня с удоем на скотном кутке.

Досыта нахлебавшись щей из щавеля, сдобренных сметаной, выхожу на дворовое крылечко, любуюсь первой звездой над сараем, слушаю скрипучий басок подсевшего ко мне бородатого хозяина. Охотник он вспомнить далекое прошлое, судьбу крепостных родителей и свою собственную. Бежал его батюшка от страшной нищеты, от безземелья и барского гнета из Курского края на Енисейску, сотни верст бродил в поисках обетованной земли, но всюду встречал отказ таежных старожилов да кулачище полицейских служек. И вот усоветовал ему какой-то добрый человечина на Обь податься, а всего краше к истокам этой реки, в горы. Так и поступил он, а по пути на Бие-реке примкнули к нему целой артелью такие же, как

он, разнесчастные искатели приюта. Были тут крестьяне с той стороны Урала, беглые рабочие с горнозаводских предприятий, кое-кто из староверов-раскольников, покинувших родной край из-за религиозных утеснений. Этак вот, артелью, и приглядели они себе займище на речонке Топчуган. Совсем было расположились тут, да переманил их к Чарышу, на Черемуховый Ключ, тамошний поселенец Иван Шестаков. На Чарыше-то и тайги будто бы поменьше и земляца пожирней, а у того Шестакова с братьями — мельница-водянка без полной нагрузки стояла, опять же хотя он, Шестаков, и мирно жил с туземцами (они его даже братом Иваном величали), все же со своими-то русачками вольготней ему. Так вот и выросло селение Тюдрала, здесь и он, мой хозяин, на свет вылутился, вызрел, семьей обзавелся. А кое-кто из курских свояков родителя о сию пору жалуются в письмах на неприглядную жизнь, да и как могло быть иначе, ежели со времени царского указа об упразднении крепостной зависимости полвека минуло, крестьянство же по-старому под игом нужды. Главное, земли у мужика — кот наплакал, а всяких податей да повинностей — горы! Слух был: пыталось крестьянство пять-шесть лет тому назад оттянуть силою у бар, из их несметного пашенного богатства, кое-что себе, да не вышло — на стороне бар-то царские законы...

— Царские законы со штыком да с пушками! — говорил хозяин, набивая трубку табаком-самосадам. — Что, не так?..

Я киваю в знак согласия головой и покидаю крылечко, хотя хозяин завел было речь снова об Иване Шестакове, мельнике, а попутно об алтайцах с их не менее печальной судьбиной... Не дослушал я рассказчика, торопясь будто бы ко сну, в действительности же остерегаясь подхватить разговор о тех, кто повинен на Руси в бедствии больших и малых народов. Все еще не решался я даже в намеках открыть свои убеждения хозяину и потому, между прочим, что какой-нибудь год назад он выполнял обязанности сотского — правой руки усть-канского урядника.

Располагаюсь на своем топчане и сладко засыпаю, убаюканный далекими всхлипами совы да шорохами ночного ветерка: проникал через распахнутое окно, касался обнаженного моего плеча, легонько шевелил на голове пушинки волос. А утром зсленый луч бьет мне в лицо,

вскакиваю на ноги, проворно одеваюсь, бегу наружу, к берестяному рукомойнику. На крылечке поджидал меня Аргамай.

— А-а! Спать бросил? Рыжего привел твоя.

У ворот, под жидкою тенью одинокой лиственницы, переступает с ноги на ногу бравый, рыжей масти мерин. Травы во дворе осыпаны солнечными брызгами, у амбара, среди кур, горделиво вскинув голову, похаживает петух, увенчанный короною-гребнем, а из-под амбара выглядывает лохматый пес с высунутым слюнявым языком,— уже томится от зноя.

Наспех перекусив, отправляюсь с кое-каким запасцем питания в дальний путь. Рыжий нетерпеливо рвется вперед, но я сдерживаю его, чтобы своим скоком не привлечь внимание тюдралинцев и особенно дачников. Прибыло их сюда нынешним летом из городов Западной Сибири не так много, но ни с кем из них я не искал знакомства. Вернее, избегал этого всячески. Так поступал бы, к примеру, на моем месте волк, охраняя себя от близости гончих лаек.

Проезжая мимо торговой лавки, у которой скопились горожане-хозяйки в нарядных чепцах и шляпках, я пружиню стремяна, и мой рыжий, как бы разделяя опасения седока, наострил уши, емкой побежал рысью. Прогрел под копытами бревенчатый мостишко, всхлипнула лужа, обдав нас студеными брызгами, и вот уже нет ни лужи, ни звонко воркующего ручейка, позади остался густой зеленокудрый таволожник. Стелется по сторонам долина, призрачным куревом вьется мошкарка над ближними излучинами Черемухового Ключа, а высоко-высоко в ясном небе плывут пухлые облачка, и уже тянутся грядками по низине скошенные травы, матовым золотом отдает там и сям пшеница.

— Наддай, милый! — звонкоголосо поощряю я коня, и тот, похрустывая металлом мундштука и обдавая гриву белесой пеной, бежит еще прытче.

Стремглав несутся навстречу темные лиственницы, подмахивают местами к самой дороге, будто готовясь вцепиться своими колючими ветвями в конскую гриву, и вдруг гурьбою устремляются прочь.

В лицо мне хлещет пряной прохладой, парусом вздымается рубаха на спине... Эх-хо! Разве можно человеку лежать в горах камнем?! Я как бы навсегда освобожда-

юсь от всех забот, тревог, и ничего, кроме бездумной радости, не испытывает мое сердце, такое же вольное, крылатое, как тот вон горный орел в бледной от зноя выси.

Брат Иван

Где-то в глубине гор полыхнула разок-другой молния и прогрохотала гроза, словно огромный камень сорвался в скалах с невесть какой крутизны. А вслед как ни в чем не бывало зачирикали наперебой птицы, явственней зашумел позади Чарыш, и, когда снова проглянуло из-за бродячей тучки солнце, сизый клин овсов на моем пути, окрапленных дождиком, сверкал так, точно кто-то разбросал здесь хрусталь.

Вместе с острым запахом взмокшей конской шерсти в лицо мне ударило знакомым, дурманящим голову благоуханием медовых трав. Из-за поворота показалась пасака Матвея Ардыбашева, крещеного когда-то не по своей воле алтайца, а вот и он сам: пошагивал недалеко от выстроившихся за пряслами ульев, у своей круглой бревенчатой, крытой берестой юрты и деревянными вилами ворошил гряды скошенной травы. Заслышав конский топот, он выпрямился, перехватил вилы в левую руку, а правую ковшиком приложил к глазам и так, сухой, коренастый, с открытой бронзовой грудью и седоволосой бороденкою, стоял неподвижно, вглядываясь в коня и всадника.

Не раз уже проездом останавливался я у Ардыбашева, и теперь без труда признал он меня, а признав, радушно завоскличал:

— Здравстуй, гости прибежал, спасибо! Сползай, вяжи конь, жалуй юрта...

Устроенный у прясел, мой рыжий приплясывал на месте, ржал, пучеглазо косил по сторонам.

— Летун-пчела конягу беспокоит! — объяснил мне Матвей, снял с ближнего кола прясел сетчатую маску, пакинул себе на голову. — Медку тебе добуду, свеженький медок — разевай шире роток... — продолжал он, набирая в руку лучинки для курева. — Со мной не ходи... Лонись гостил мой юрта землемерец один... Упреждал я гостя: стерегись пасеки, а он: «Чего там, пчелка, говорит, не рысь...» И за мною к улыю, а она его в щеку, пчелка...

Как он заверзжит: «У-ю-й!» Я к нему с поклоном. «Пожалуйста, друг, не реви... Пожалуйста, пчелку мою не пугай!» А он свое: «У-ю-й...» Борони бог, как пищал...

Пока старик добывал меда, я сбегал с ведерком к урчащему вблизи ключику, обдал студеной водою своего рыжего от холки до хвоста, насыпал ему из запаса овса и принялся собирать у ключа валежник на костер. Время подвигалось к сумеркам. С низины тянуло влагою, над дальними горами собирался туман.

— Э, святой Микола, покровитель...— слышу я за собою голос Матвея.— Белки, гляди, чадят, пчелка замират... Ну, ладно, идем юрта, закусим, горячего отварцу поьем, медок почавкаем!..

И вот сидим мы посреди юрты, поджав под себя ноги. От легкого костра идет тепло, и чудится: чьи-то угретые руки легонько касаются лица, пробираются под рубаху, к груди. Над костром черный, засаленный чайник, у колен моих — чашка с медом, ломоть хлеба, ложка в виде крохотной лопатки.

Матвей то и дело нагибается к алым, в накале, углям — оправляет. Ему за шестьдесят. У него совсем темное, в сетке морщинок, лицо, припухшие глазки, низкий, мякишем, лоб и жесткий пучок белесой бородки. Голова его острижена голо, но неровно, грядками.

От матери Матвей Ардыбашев недельным остался, а вскоре и отца потерял: то ли шатун-медведь в горах задал, то ли растерзали волки,— пропал человек без вести. Капут бы тут и мальцу, да отпоила его козьим молоком с перста родная бабка, старуха Тарынчак, она и вырастила сироту до отроческих лет. А как убралась на тот свет к Ульгеню старуха, перехватил мальчонку богатый бай в пастушонки к себе. Нелегко жилось юному чабану, однако выдюжил...

Разговорился старик, я прерываю его. Вспомнил, что не досказал мне прошлый раз мой хозяин в Тюдрале о первом тамошнем поселенце, и прошу Матвея поделиться памятью о русском мужике Иване.

— Иван-карындаш? — живо откликается старик. — Который же не слышал об Иване-братце... Уюй! Сестрица-то родителя, кормилица-то моя, хорошо знала его... Шестаков — прозвище.

Много лет назад пожаловали с иртышских степей в эти места киргизы и теснили алтайцев, а за ними вскоре

нагрянули с севера русские. Они уже табунились в то время по Оби, а Иван Шестаков с четырьмя братьями и бабами их заохотились устроиться в горах. Богатыри бородатые — все пятеро, уползom на Обь пробрались, ужами живучими на Чарыш, да и осели на Черемуховом-то Ключе.

Собрались в те поры алтайцы да киргизы, хмуро дивуются на избу Шестаковых. Вышел Иван к ним, старший среди братьев, лапищами машет, на речку кажет, головой крутит: пустите-де нас к себе, жители первозданные, я вам мукомолку заведу.

И поставил мельницу на Черемуховом Ключе. Но побратались киргизы с алтайцами — единый у них враг, и начали потайно обижать руссаков. С пастбища овцу похитят, из табуна коня в глухомань угонят... Раз собрались на мужичьем сенокосе: «Не смей! Трава наш, земля наш. Уходи!»

А вокруг Ивановой-то семьи налепились к тому времени с полсотни новых, из-за хребта Уральского пожаловали, голод стянул их сюда. С сохами, боронами иные припожаловали, а кое-кто, из работных людей которые, с молотом, зубилами, пилами за плечами.

«Не смей да не смей», — киргизы кричат, а за ними в голос алтайцы. Загорелись новоселы, чуть косами «ко-соглазых» не порезали. Насилу жены уняли мужиков своих.

А еще раз целым табуном алтай-кижи к мельнице бросились — разору, огню предать готовы были... Видит Иван — плохо дело, не миновать беды. Младший из братьев — Селиверстом звали — за ружье. Иван кричит: «Не крушите — ваша будет!» А Селиверст, не долго думая, «бах» из ружья... Разбежались.

С Иваном, день за днем, свыклись люди, ласковей стали. Главное, польза от него. Много ли мучицы натолкешь в ступе каменной, а тут хоть полсотни пудов зерна доставь, — живо в парошу на жерновах обернет. Селиверста же, за пальбу его, подстерегали с дубинами. Почуял тот, что не миновать беды ему, убрался прочь с семьей, к самой — слух был — Чуче-реке подался. А Иван с братьями зажил припеваючи. При мельнице торговый прилавок открыл, менял всякие шкурки да меха алтайцев на водку, табак, ожерелья... И начали величать Шестакова Иваном-карындаш.

Вскоре и начальство в поселок наезжать стало. Негожих калмыков, ежели «шалили», целым гузом в тюрьму увозили, в Бийск-город. А тут откуда ни возмись — новый торгаш с обозом, а за ним — поп с крестом. Так крестом да плеткою и смирили алтайцев. С годами же довелось туземным жителям прочь с тучных пастбищ к ширам каменным податься.

Матвей заметно притомился со своим рассказом, покашливал, жмурил кроличьи глазки.

От костра тянуло дымком, от старика — медом. За стеною, мирно похрустывая, управлялся с овсом рыжий.

— Зимой за скотиной у бая ходишь, дрова возишь, зерно — на мельницу... Мало-мало шевелишься — сыт будешь...

Пьем горячую жижу с кирпичным чаем, закусываем хлебом, медом. Потом хозяин укладывает меня ко сну грядущему. Сквозь дрему слышу голос старика и то, как мягко вплетается в него «хруп-хруп» моего рыжего.

Костер гаснет, я приоткрываю глаза и вижу в полумраке: стоит старый Матвей на коленях, ко мне спиною, опустив голову, и тянет что-то гнусавое, чередуемое со страстным, горячим:

— Э-э, Бур-х-хан...

Спал так крепко я, что не слышал поутру, как выbralся из юрты хозяин. Пробудил меня, похоже, рыжий: соскучился на привязи, ржал, бил копытами о ворох свежего сена, подкинутого четвероногому гостю Матвеем.

Что-то необычное творилось в горах. Солнечные лучи трепетали в парном воздухе, стрелами пронизывали влажные травы, вершины лиственниц, алым заревом освещали молочные пряди утреннего тумана. И все звучало вокруг: звенел ручей, тинкали птицы, над головой у меня жужжали невидимые пчелы. И чудилось, что под небом натянуто множество струн и само светило небесное перебирало их.

Можно было подумать, что в это утро горы справляли один из своих праздников. Потому так и принарядились лиственницы, оттого и по крутым горным склонам солнце разбросало золотую свою парчу. И еще думалось, что этих гор вокруг вовсе до этого утра не было, а если и были они, то над ними не пронесли еще седые века, не было еще тут ни «брата Ивана», ни урядника с нагай-

кой, ни миссионера с кропилом, не стояли по долинам избы набеглой кулацкой рати, не лились вокруг слезы загнанных алтайцев.

Из-за юрты подходит Матвей, улыбочиво подрагивает бороденкою.

— Спал долго... молодой! А старый три грядки с ко-сой прошел... Пчелка на зорьке будит: «У-ю-й, вставай, старый, робить надобно...» Закусить охота?

— Спасибо, вчерашнее прикончил...— откликаюсь я и направляюсь к коню.

— Подкормил, напоил я скакуна-то,— предупреждает меня старик.— Едешь? Прощай!..

Достав из кармана два гривенника, протягиваю их Матвею, но тот отмахивается:

— Что ты, что ты! Какой раз говорил тебе: грех лю-тый с гостя тянуть... Путь добрый!..

Я крепко жму руку хозяина, седлаю коня, но, вскочив на него, вдруг вспоминаю минувшую ночь и, улыбаясь, говорю:

— Матвей!

— Э!

— Молился ты вчера...

— Угу, Христу молился...

— А потом... Бурхану?

Старик добродушно подмигнул мне.

— Христос — по кресту мне бог... Бурхану — весь Алтай молитца... Одному — немножко, другому — не-множко... Зачем обижать?..

Я кланяюсь старому, ласковому к богам алтайцу, от-пускаю повода, и мы, я и рыжий, летим навстречу горным далям.

Еще два перевала, а там Уймон, Катанда, Катунь-ре-ка, красавица Алтая.

Н о р г о ж ы ш - п а у к

Заняли чужаки по рекам Чарышу, Коксе, Катунь, Чус плодородные земли, воздвигли деревни, обнесли тыном берега ключей, завели в садах маралов, скот тысяче-головыми табунами начали водить, хлеба сеять, новину подымать — поначалу деревянными сохами, а потом же-лезом и сталью.

На речных берегах, как огромные сытые пауки, лежат уймонские деревни, а вокруг, подобно паучьим щупальцам, раскинулись заимки.

Русского плечистого мужика-кулака, а с ним и купца-воротилу старожилы края — алтайцы так и зовут:

Иоргомыш-паук!

Распростер лапы свои иоргомыш над Алтаем, пил густую медовую брагу и все, что на глаза попадалось, забирал: реки, пастбища, чернь дремучую, всякую добычу «инородцев» — рысь, лисиц, белок, горноста, сохатых.

Силен иоргомыш не только своим богатством, а и защитой царских баев, чиновников. Посмей только ослушаться власть имущих — живо без головы останешься... Так и в алтайских песнях говорилось:

Кто с морозом борется, тот лишится уха,
Кто с начальством тянется, без головы останется!

Я и Джала, мой проводник с Усть-Коксы, бежим мы на своих скакунах по каменному тракту, проложенному в горах уймонцами.

В долинах, на пути, всюду встречаем пышный праздник дремучих сил: звенят травы, гогочут дикие жеребцы; стада тонкорунных овец, изнемогая под солнцем, тащат к бревенчатым деревням шелковые свои шубы, выхоленный долинными травами жир.

Перед нами изумрудные нивы, такие жирные, что, сколько их ни паши, они — знай свое — выбрасывают под солнце и чертополох, и зверобой, и серпуху.

Я русский, и мне не по себе перед моим проводником, смуглолицым юным Джала: когда-то он был здесь хозяином, а ныне над всем царит всесильный иоргомыш.

Зори пламенеют над вершинами, и мы подымаемся к ним все выше, выше, дальше от жилья.

Вот — синий яр над Коксою, сестрою Катунь. За полусгнившею изгородью со дна обрыва тянутся к нам своими иглистыми маковками лиственницы, мексиканские ели. Гибкая белостволая березка взобралась на мшистый выступ и заглядывает к темному бору.

А внизу — долина, вся в белых зонточных цветах, в купах акаций, жимолости, черемухи, и бежит, вьется по той долине, как огромная змея, темно-зеленая Кокса... А за рекою снова горы, и там, почти по отвесному взье-

му, из-за густой лесной шерсти глядят на нас хмурые, мшистые камни. Над всем в зыбучем огне — солнце.

Сворачиваем каменной тропой к зеленому провалу. Между заросших тысячелистником взъёмов подвигаемся целиной, прямо по травам, все выше, выше.

Сладок отдых у студеного ключа под влажную тенью ели. Жужжат неподалеку дикие пчелы, теркают кузнечики, дзинькают жучки. Близятся сумерки, насыщенные запахами смолы, папоротника, ромашки.

Все радостное, сытое, пьяное сытостью, осталось внизу, в долинах, в деревнях, а здесь, у юрты, над ключом — тихая, щемящая сердце грусть.

Костер красным пупом своим поблескивает в воде, румянит седую скалу, но там, в сыром мраке, бессилен багряный луч: он тонет, захлестываемый ревнивой ночью.

Костлявый Адыш, с упругим сухим лбом и острым носом, хозяин юрты, положив стриженую голову на поднятые колена, приник глазами к огню.

Он недвижим и напоминает осколок камня. Для меня, случайного гостя, нем он. Немо для него все, что вокруг.

Джала шепчет мне, что тоскует Адыш по старине, по былому благополучию дедов, по стадам, которым не было будто бы счета... У него жена, отец-старик и пятеро подростков, и всем сердцем он в страхе за них, за их будущее.

Адыш обильно пьет араку, пьет до забвения. Правда, и раньше пили алтайцы, но не так. Раньше пили для веселья, во имя благополучия: джигиты — чтобы гибче держаться на коне, охотники — чтобы стрелы их были вернее. Теперь пьют, чтобы избыть страх перед надвигающеюся бедою. Беда сторожит на каждом шагу: тут и паук-торгаш, и урядник с судьей, и поп-миссионер со своим богом, не менее жестоким и жадным, чем злой Эрлик с его шаманами, умыкающими на кровавые жертвоприношения последние крохи в хозяйстве верующих.

Тихо, черно, глухо кругом. Лишь вдали шумит Кокса, точно ветер в бору, и тут, у ног, робко булькает ключ.

В Катанде проводник мой прощается со мною, и я подворачиваю к лавке местного купца Артамонова, с тем чтоб запастись кое-какими продуктами. Купец предлагает мне передохнуть у него, и я принимаю приглашение. Отчего

бы, думалось мне, не познакомиться ближе с бытом одного из иоргомшей.

У купца крепко сбитая двухэтажная изба. Внизу кухня с огромной печью, в которой можно зажарить барана, а за стеной — лавка с товарами. Наверху — жилые горенки. Тут, по стенам, сундуки стоят, обитые белой жостью, и две кровати кедровые, под стекло выскобленные, с горою подушек; столы широкие, укрытые клеенкой, и в двух углах — по большой божнице с образами старого письма и большими медными восьмиконечными крестами над каждой.

Всюду пахнет кедром, цветами; на подоконниках — герань, петуший гребень, перец турецкий, кактус, розовый мак.

Утро... Всю ночь баюкал меня через открытое окно лепет ключа, что с горы Саптан через улицу бежит к Катунь. Звенел он и теперь, только что-то ворчливое слышалось в том звоне.

Я вышел на высокое, просторное, узорчатое крылечко. Свежо, сыро... С севера задувал ветер. Свинцовая туча надвинулась к вершине Бойчо, охватила ее, скрыла и тихо, пегими клубами, подвигалась вперед.

Жена хозяина, бледная, с темными печальными глазами женщина, приветствовала меня, кланяясь. Она сидела за столом у шумящего самовара. В деревянной монгольской миске дымились горячие пельмени, рядом медово желтело варенье из дикого крыжовника.

Верх крыльца сплошь в пушистых рогах маралов: вывешены для просушки. У Артамонова три маральника с двумястами голов, и каждое лето десятками пудов добывает он эти ценные рога.

Во дворе, из открытых дверей амбара, несет удушливым запахом беличьих, рысьих, медвежьих шкур. Посреди двора стоял сам Артамонов, неуклюже опустив руки. Вокруг него переминались с ноги на ногу алтайцы в синих засаленных халатах, в грязных уйдуках.

Павлу Артамонову под пятьдесят. Он крепкий. На круглом лице его — породистый, с горбинкою, нос и светлые, свежие глаза; есть в них что-то лесное, звериное. Даже когда лукавит этот человек, в глазах его светится особая лесная простота, напоминающая глаза сытого прислушивающегося волка.

— Эко сказал ты, Салах! — говорил Павел Семеныч. — Пошто ко мне? Клад, чего ли, у меня зарыт? Я вить не солнце, всех не обогреть...

Салах, старик с пегою косичкой на затылке, подергивал нижнюю, обидчиво отвисшую губу, беспокойно шарил рукой на костлявой груди, хрипло твердил свое:

— Способляй, Семениц! Тюрьму наша кидать хочет, детей — увязка, хрокочет...

Двое других, должно быть сыновья Салаха, вторили ему, исподлобья поглядывая на купца:

— Способляй наша... Наша честна!..

Было тошно глядеть на сыто улыбающегося Артамонова и на скуливших вокруг него алтайцев.

— Дождь-от насюкается, — заметила тихо хозяйка, наливая мне чашку кирпичного чая.

На Саптане дымились сизые ветряные столбы. Подле, у Кызыльского взгорья, было еще светло, но над ближнею вершиною уже кружилась туманная корона.

За амбаром, на бахчах, тревожно опрокинул под ветром серебристые свои листья тальник.

Павел Семеныч, завидя меня, направился к крылечку, алтайцы побрели вслед.

— Кушать на добро здоровьице! — молвил Артамонов, влезая на крылечко. — Однако снег по шишам выпадет, свежо че-то больно...

Я молчал.

— Вот поглядите на них, — продолжал он, охватывая меня всего своими сочно светящимися глазками. — Пришли до зорьки, два целковых просят...

— Что такое у них? — спросил я, переводя взор на понуро стоявших внизу алтайцев.

— Дело просто! Древко из царского бора стянули без билета. Ну, штраф, протокол — от лесного объездчика... А урядник деньги, не то трех овец требуют... Денег-то у них нет, а овца худо-бедно полтора рублика... Вот они и прибежали... До осени просят, звонкою монетою!..

— По осени орех тебе наша! — подал голос Салах, слышав разговор. — Белковать будем, шкурка можно... Овца жалко... Овца нужна!

— А вы дайте, — сухо заметил я.

— Пошто бы не дать, — отозвался хозяин, и на пунцовых губах его заиграла улыбочка. — Дал бы... Да уряд-

ник-от, Поликарп Андрияныч, в обиду ко мне станет... Одна эта и есть помеха!..

Я недоуменно поднял брови.

— Просто дело,— пояснил хозяин,— овец господин урядник мне же продаст, две бумажки в казну сдаст, остальное... того... середь нас говоря... Сами понимаете...

Ветер усиливался. Маральи рога над нами покачивались. Тальник за амбаром стлался чуть не по земле, травы у заплота осерели и полегли. Бойчо, Саптан и Кызыльское взгорье сплошь закрылись вуалью дождя.

С юга стремительно надвигалась черная косматая туча, а через открытую дверь в окно горенки видел я, как на другой стороне дождь уже накатывал к якореобразному леднику Ермака... На стол к нам упали первые крупные капли дождя.

— Однако убираться надо... Пелагеюшка, тащи, мать, самовар в избу...

Артамонов встал из-за стола.

— Семениц! — послышалось снизу тоскливое. — Жалей богом... Семениц!

Я достал два рубля, сошел проворно вниз и подал их старику.

В бесцветных, изжитых глазах Салаха проступила растерянность.

— Твоя? — глухо выронил он, показывая на свою ладонь с двумя серебряными.

— Моя...

Старик обменялся летучим взглядом с сыновьями, и все трое отвесили мне низкий поклон, а через минуту они уже мчались на своих конях по улице под проливным дождем.

На Ермаке постукивала гроза.

Мы пили чай, и Павел Семеныч долго с улыбочкой жаловался на свои дела. Двадцать, почитай, лет сидит он в Катанде, а до сих пор не может добиться в полное владение земли. Вроде как царская она тут, земля-то, кабинетская. Правда, дозору полного нет, хватает взятого на пахоту и маральник с излишком, а все как-то некрепко сидишь. И алтайцы избаловались: прежде сам он цены всему уставлял, а теперь тоже и они научились хитрить.

— Однако жить можно, почему не жить!.. Только вот маральи рога в цене пали... Опять же медведи, волки па-

костят сильно: весенясь кобылу задрали, два ста за нее взять надо было... Да и одну ль кобылу? Баранов десятками дерут... То ли медведи, то ли волки, а может, и алтайцы коробчат...

Хозяйка сидела молча, и на ее бледном лице печальные светились глаза. Должно быть, ей было скучно с нами. Она, по словам супруга, все больше в женском обществе время проводит, с соседками.

Под вечер начало распогоживаться. Сизые тучи свалились за Ермак. Ближние вершины тепло курились. По склонам из-за трухлявых облаков проглядывали яркие в лучах заходящего солнца травы. Где-то, совсем близко, чирикали воробы, и бодро, стойко шумела вдаль Катунь.

Павел Семеныч охотно знакомил меня со своим хозяйством. Мы побывали на ближнем маральнике, заглянули на скотный двор, за которым присматривал пожилой батрак из незадачливых безземельных новоселов. По пути хозяин завел меня под тесовый навес при сосновом амбаре.

— В прошлом году обзавелся добром этим,— говорил он, указывая на двухлемешный плуг, грузную молотилку, нарядно окрашенную веялку.— Довелось за оборудованием таким аж в Барнауль-город ехать... Порядком израсходовался, а не зря! Нешто можно, скажем, плужок такой с андазыном калмыцким сравнить?! Да вот гляди, голубь, сам на соху ихнюю... Андазыном прозывается.

Под открытым небом, в тылу амбара, стоял увесистый деревянный крюк — что-то вроде сохи.

— Эту вот штуку алтайцы-то к седлу подвязывают,— объяснил хозяин и сплюнул.— Конь и волочит за собой... Эх-ма!.. А этот вот окомелок заместо бороны у них...— И он пнул ногою сухое древко с растопыренными сучьями.— Посмотри уж и магазей мой, коль не притоился...

Ставя передо мною на помосте кирпичики чая, куски синей дабы, дешевенький милюстик, глиняные чашки, стеклянные бусы, Павел Семеныч говорил:

— Косоглазый за этаки вот колечки, али проволочки, али какой ни на есть обрезок парчи одну и две беличьи шкурки отдаст... А за водчишку с басурман что хошь возьми! Арака-водка ихняя прискучат... Осенясь я заместо водки киндель-бальзаму из города добыл... Ну, и накинлись! Веришь — нет, с неделю толкались вокруг да около...

Подметив хмурость в моем лице, он протяжно вздохнул:

— Греха с ними не оберешься, с косоглазыми...

Собирался еще что-то сказать в свое, надо полагать, оправдание, но тут из-за стены проник к нам мягкий, жалующийся голос хозяйки, подхваченный другим женским голосом. Это была тягучая, унылая, старорусская песенка, и я без труда улавливал каждое ее слово. Вот:

Не с поволюшки мальчик женился,
Да не с поволюшки женку брал...
Я не буду-то жить, не стану,
Пойду во темные леса,
Во темные лесочки...

— Супружница моя голосит, с подружкой... — заметил хозяин. — Старой она у меня веры, богобоязная, как же... И песни у нее от сердца! — Помолчав, он продолжал негромко: — Родителя-то ейного — царствие ему небесное! — баре орловские на каторгу выюношей упекли... Посягнул он будто бы на прикащика ихнего... Ну, с годок парень на Енисее где-то томился, а потом, не будь дурак, бежал на Чую, а с Чуи в наши места подался... Тут и осел, обженился спустя время... Пелагеюшка-то моя за год до упокоения отца родилась, да и матка ее недолго на свете белом проскрипела... Сиротой девонька росла... Ну, приглянулась мне, обженились мы, а наследничка о сю пору господь всевышний не спосылает нам...

И он снова вздохнул, в этот раз по-серьезному. У него даже слеза взблеснула в глазах, но немедля, как бы стыдясь своей слабости, круто переменял разговор.

— Вот, изволите видеть!.. — поднес он ко мне деревянную миску. — Гривна — красная цена ей, а мы по двадцать с пятаком спускаем... Ничего — жить можно... Эге! — прервал он себя, попнувшись к распахнутой двери. — Никак опять вчерашний попрошайка прибыл...

Мы вышли наружу. Это был Салах. Он сполз с коня, придерживая за повод другого, нарядно оседланного, и запричитал, обращаясь ко мне:

— Просю твоя, господин, гостить мой аил... Чево твоя скажет? Вот и конь, садись, скачи!..

Я немедля дал старику свое согласие:

— Можно! Только коня зря ты, у меня — свой.

Из аула в аул

— Немножко бежи, друг! — выкрикнул Салах, покидая ворота купца Артамонова.

По одну сторону у него — второй конь с пустым седлом, по другую — я на своем рыжем.

Влажные тени укладывались на улице. Бревенчатые избы тянулись гуськом, сливаясь вдали с бурыми купами тальника, а за поскотиной в долине было уже совсем темно, и лишь травы тускло поблескивали дождевою влагою под зеленоватым, прояснившимся небом. Горы, казалось, встухли, раздались вширь и сползли к самому селу.

Дробно простучали копыта коней по деревянному настилу над речонкой, притоком Катуня. За черными кустами тальника сердито клекотали волны. Мы вступили в ущелье. Вдали показались остроконечные юрты, курившиеся дымком. Слышался собачий лай.

Из юрты Салаха встречу нам выбежали его сыновья, вразмах поклонились, сняв шапочки, и приняли у нас коней.

В юрте, вокруг очага, полукругом расположились, сложив под себя ноги, званые гости, соседи по аулу. Среди них были и женщины, облаченные в долгополые чегедеки, с черными косами на плечах. Подле возились полуголые ребята, и один, более взрослый, с мохнатым чубом на лбу, выкрикнул вместе со старшими приветствие мне, гостю:

— Эзен-здравствуй!

Я уселся на кочму, и с минуту все мы молчали.

Пламя костра лизало сальный черный казан и багровыми пятнами трепетало на обнаженных плечах, скуластых лицах с унылыми глазками, на серой орын-постеле, заваленной тряпьем.

Белесый дымок подымался к решетке из жердей, где темнели куски мяса, и выше, к круглой дыре в юрте, через которую заглядывала одинокая звездочка.

Мужчины и женщины, жены сыновей Салаха, курили камзы. Из-под занавеси вышла еще одна, принарядившаяся, в сверкающих ожерельях и треугольной барашковой шапочке. Она держала у обнаженной груди ребенка и, присев к очагу, поставила перед Салахом берестовую кубышку с аракой.

— Кэм? — пробурчал кто-то, показывая в мою сторону, и Салах, наливая араку в чашку, тихо выронил:

— Аильчи якши...

И сейчас же перевел для меня:

— Хороший гость, хороший...

— Алмак! — проговорили в другом конце, и все зашевелились, перебрасываясь замечаниями на своем языке. А из-под кочмы, снаружи, сгибая спины, входили новые гости. Они тихо произносили:

— Якши-ба — хорошо ли?

— Якши... Якши-ба, — отзывались вокруг хором.

— Якши, — заключал гость, усаживаясь в круг.

Салах в знак дружбы отпил араки из чашки и подал ее мне. Я отпил в свою очередь и передал соседу, и чашка пошла кругом.

Все оживились, заговорили. По-русски знал один Салах да немного его сыновья. Старик не забывал меня и некоторые вопросы, ко мне обращенные, немедля переводил.

— Вот — Бахир, — вымолвил он, кивая в сторону поглядывавшего на меня алтайца в малиновой шапочке. — Вот он спрашивает: кэм — кто твоя?

Я сказал.

Салах обратился к Бахиру.

До меня долетали лишь отдельные русские слова: «Правительствующий сенат, коло сената...»

Вокруг затихли, косясь на меня. За юртой ворчал пес, бряцали удилами кони.

— Салах! — позвал я.

— Э?

— Зачем ты о сенате... Я не чиновник... Я ж тебе говорил: пишу, и о вас буду писать, о всем, что слышу и вижу...

— Пишешь? — Салах задумался.

Кто-то подбросил в костер валежника, и вот все вспыхнуло вокруг, и тут увидел я у стен кожаный кап с добром, камень с тлеющим вереском и над ним желтые и белые ленты вокруг увядающей березки: место молитвы Бурхану.

— Пишешь? Якши! Алтай свою грамоту богу сдал... Не может Алтай! — заговорил Салах и, что-то свое осмыслив, возгласил: — Твоя писал, люди читал, сенат читал...

Я улыбнулся и снова взял слово в защиту себя. Но Салах обернулся к гостям и возбужденно произнес: «Аилчи якши, Алтай наадизи», — что значило: «Хороший гость, друг алтайца».

Тут я закивал головою в знак согласия и почувствовал на себе затеплившиеся ласкою глаза окружающих.

Говорили все враз, передавая от одного к другому чашку с аракой, посасывая камзы, сплевывая на сторону. Салах вскинул руку, приглашая гостей ко вниманию, склонился ко мне, начал страстным шепотом:

— Пиши, друг: худо Алтай! Водой рыбы нет, зверя, птицы нет... Худо жить! С каждой лесины алтын плати...

И вокруг дружно отзывались:

— Э-э! Э!..

— Де Катанда — кости дедов наша! Пришел богач орус, чичке пут — тонконогий зверь, погнал Алтай...

Старик пристукнул сухим кулачишком в грудь себе, замигал глазками.

— Пастбища коробчат! Пашня коробчат, тайга коробчат...

— Э-э!

— С Катанда верх бежим, Акэм бежим, Белуха бежим... Лед!..

Кто-то дрожащей рукою поднес старику камзу. Затянулся тот дымком, кашлянул и, подавая трубку мне, продолжал:

— Пиши: поконь века на Чарыш, Кокса, Катунь обитал алтай-кижи... Нынче к шишам гонят, в горы, де камень, снега... Ручей нет, вода — грязь, скот дохнет, балам — дитя голодну слезу льет... У последней воды народ!..

Раскашлялся старик, умолк. Молчал и я, не зная, что сказать, чем и как утешить его. Вспомнилась мне своя собственная жизнь с ее лишениями, вечным мытарством, непрестанной угрозой попасть в капкан тех самых сил, что угнетали, тиранили народ Алтая... Да полно, только ли Алтая?! Не миллионы ли нас, угнетенных!..

Гнев охватил меня, забурила подогретая аракой кровь, и вот, приподнявшись на колена, взбросил я, угрожая нашим общим врагам, кулак и затем потянул к себе Салаха, крепко обнял его, обронил одно-единственное слово:

— Наадизи — друг!..

Поняли как надо меня алтайцы, ожили, залепетали о чем-то своем, и вновь пошла гулять по кругу чарка с крепкою аракой.

К полночи захмелели от араки, щедро подлизанной в

чашку хозяйкою, старые и юные. Один из сыновей Салаха извлек из капа топшур, что-то вроде скрипки, провел волосяным смычком по волосяным струнам, затянул унылую песенку на родном языке. Молодые, покачиваясь на месте из стороны в сторону, подхватили полным голосом, и выходило у них:

— Я-ах-хту... алтай-ай... ча-асан-да...

* * *

Над горами всходило солнце. В синих туманах простирались к небу белки. Радугой горели, с разбегу бросаясь в ущелья, водопады, белогривые, грохочущие, в ярости своей похожие на подстреленных медведиц.

Над горами висели звезды, и в темном хрустале вершинных озер теплилось алмазами ночное небо. Темные кедровые напевы сказки, жадными корнями пили ключевые воды, невидимые среди ночных теней. И были ночи, когда над угольною щетиною высот всплывала луна и кралась от вершины к вершине, разливая потоки бледного, тихого света на озеро, на травы, и тогда кроны лиственниц казались окованными серебром, а изгибы бурной Катунь сверкали тысячами скрещенных стальных лезвий.

И курились кругом фиалки, лютики, глазастые анемоны. В кустах черемухи, в тяжелых ветвях неохватных елей, под шатрами кедров-ветродуев, на бледных березках, тянувшихся из толп лиственниц к небу, — всюду звучали птичьи песни, и горделиво плыл в высотах клекот бородастого орла. А на озерах, у звонких скал, пилилюкали бурундуки, грустила желна; в темных зеленых глубинах бора кукушка отсчитывала минуты бездумной и радостной жизни гор.

Была кругом красота цветущего лета, когда все богатства свои выкладывают напоказ, под солнце, гордый ими Алтай.

Но я уже не отдавался плену этой красоты ни днем, ни ночью, она не опьяняла меня, не касалась моего сердца.

Слух о «наадизи-алтай», о друге алтайцев, который записывает все, что видит и слышит у бедного народа, с быстротой марала летел передо мною на десятки верст и опережал мои желания.

Еще только выезжал я из аила, сопровождаемый верховым алтайцем, а в соседних урочищах уже знали об

этом, и вот вдали по дороге клубилась пыль: то скакал за мною посланник.

И ходил я по рукам от аула к аулу, от юрты к юрте, и всюду с жадностью изливали мне свои страдания, неизбывные свои обиды.

Были тут старики и молодые, женщины и родоначальники айлов — все в один голос, одною грудью вопили о великой своей беде, о гонении на них, о засилье богатых заезжих мужиков, о тяжелом для стад их землеустройстве.

— Албаты-народ бежит прочь... Китай бежит, Еньсей бежит, Уйрюханский край бежит.

— Останется бедный, битый да грабленный...

И все голоса сливались в один тяжкий стон:

— У последней воды народ!..

И я слушал и не замечал ни красоты гор и рек, ни солнца горного, ни близких к белоснежным вершинам звезд.

Я был в плену у этого малого, темного, забитого народа. Главное, что мучило меня, это бессилие алтайцев, удручающая их покорность судьбе. Тщетно искал я в их глазах пылающих огоньков веры в себя, влечения к борьбе... Только раз, только в одном из них заметил я то, чего искал. Но это было мимолетно... Будто нежданная зарница вспыхнула, разорвала полог ночи и на одно мгновение осветила перед путником крепкую кремнистую тропу над скалистым обрывом...

Как сейчас вижу перед собою вершину перевала. Я и Улаа, мой очередной проводник, напряженно вглядываемся в седые волны тумана.

Запрокинув голову, цепко расставив ноги, Улаа стоит на каменной глыбе, обросшей мшистою плесенью. Упругий ветер шумит в кряжистых кедрах, пробегает сизыми волнами по травам, рвет на алтайце полы его малинового камзола.

Слышу, как стучит мое сердце, объятые предчувствием не то беды, не то радости.

Там, за синеющими провалами горных высот, косматые тучи беззвучно движутся, громоздятся, нагоняя и пожирая друг друга.

Ветер крепнет, теребит махровые ветви кедрача, темными камнями кидает прочь, в сторону, ошалелых горлиц... В разрывах тумана вспыхивает то ослепительно белым, то молочно-розовым.

— Терпи минута, терпи!..— бросает мне Улаа, не поворачивая головы, настороженно вытянувшись вперед.

Порою кажется, что удары ветра сорвут и унесут прочь этого щуплого, сожженного солнцем человека, орленком вцепившегося в ноздреватый осколок горной маковки.

— Э-э! — вскрикивает вдруг он и, обжигая меня разгоревшимися глазами, протягивает руку вперед. Я прыгаю на выступ камня, хватаюсь за треплющуюся полу камзола алтайца, почти касаюсь рукою обнаженной груди его и, подняв голову, застываю на месте.

Провалы между туч медленно ширятся, космы тумана, цепляясь за щетинистые увалы, разрываются на мелкие пряди. Еще минута — и перед нами встают в разливе движущихся облаков белоснежные вершины. Осиянные косыми лучами невидимого солнца, величавые, они уходят в бледное небо, сливаясь с ним. А по сторонам, покуда хватает глаз, дымятся гряды великанов, все в огромных, выкованных из льда, чалмах.

— Белух-х!..— кричит мне Улаа, и, косясь на него, вижу, как трепещут его ноздри, как искрятся глаза его незнакомым мне огоньком силы.

Улаа доверяет мне свои думы, я свыкся с его кротким пастушеским сердцем, безропотно прячущим свои страдания.

Но сейчас я не узнаю его. Повернувшись ко мне, глухим гортанным голосом кричит он, осиливая гул ветра:

— Слушай, друг! Вот тысяча раз солнце пробежит коло земли. И в тысяча первый сгорит на Алтае береза, станут воды, трава красный будет... И вернется тогда на долина великий Ойрот-хан... Э!..

Он вскидывает руку к белым вершинам.

— Тогда соберется алтаец четырех сторон... Слушай, пожалуйста!

Он наклонился к моему уху, кричит:

— Соберется народ тучей, пики возьмет, стрелы возьмет... И ахнет кадран-вор, махнет руками Алтай... Кажет: «Айда своя! Мой земля хватит мне...» И станет Алтай господином... Алтай песни будет петь... Алтаю стада, птица, зверь — все Алтай... Слушай, пожалуйста!

Я слушаю и хочу верить тебе, Улаа, твоему страстному воплю:

— Аргалан-воля!..

Хочу этому верить здесь, у синеющих перевалов гор, где горят вечные льды Белухи, где двумя необозримыми крылами простерты по сторонам малые снежные вершины, похожие на воинов.

Я провел с моим проводником много часов и о многом поведал ему.

Я рассказал о фабрикантах, чиновниках и помещиках и о главном среди них, о царе-кровопийце. Я рассказал о том, как угнетены мы, русские рабочие и крестьяне. И о том, как и на чем держится власть царя... С оцепенелыми от ужаса глазами слушал меня Улаа. Он начинал понимать, что враг его сильнее, чем он думал. Это уже не только купец Артамонов с Катанды или их туземный богач Кульджинов из Теньги, а тысячи купцов и заводчиков. Это уже не русский мужик-толстосум, а огромное стадо диких феодалов, помещиков, и это не урядник с попом Макаркою из Коксы, а многое множество пройдох и плутов в генеральских мундирах и золоченых ризах... И не Артамонов со своею лавочкой, не урядник с саблею, не поп Макарка с крестом, а тысячи их, Артамоновых, полки одураченных солдат, миллионы человеческих существ, поработанных во имя небесного и земного царей, стоят на путях к воле алтай-кижи.

Он еле, похоже, держался в седле, мой бедный Улаа, когда я заканчивал свой рассказ. Но я не оставил его под грузом отчаяния, которое раздавило бы ему жизнь.

Я рассказал ему о русских нищих крестьянах, стоящих, как и алтайский народ, *у последней воды*.

— Это друзья твои, Улаа!

Я рассказал о русских рабочих, ведущих борьбу на жизнь и смерть с царем и капиталистами.

— И это — друзья твои, Улаа!

Я рассказал также о тех, могучих и мудрых, которые стояли во главе поработанных.

— Эти люди, Улаа, об руку с рабочими и крестьянами спасут Алтай!

Выслушав меня, Улаа покинул коня и молча низко поклонился. И я не сомневался, что не мне, а тем, могучим и мудрым, идущим впереди русского народа — спасителя Алтая, отвесил он свой поклон.

С этого часа молодой проводник мой вступил на путь таких знаний, перед которыми все древние шаманы, да

и приверженцы новой белой веры были не более, как жалкими слепцами.

В сумерках мы пробрались с Улаа к попутному айлу и заночевали у его родителей. Всю, почитай, ночь, полулежа у смуглого зарева очага, отец и дед Улаа, да и он сам рассказывали мне о жизни и бедах Алтая. До того, как перекочевать из-за нужды в горы на Катунь, жила семья Улаа у реки Чарыш, вблизи Усть-Кана, и была там у них родственная связь с семьей зажиточного Тахтара Очубаева и другими многими, изведавшими незабываемые события в долине Теренг, слышавшими вещее слово пророков белого Бурхана.

Вот кое-что из рассказов родных Улаа о Тахтаре и о его сыне Тетоне, которых и мне довелось встречать несколько позже здесь, на Катунь.

Тетон

Тахтар стар, весь он недужно обрюзг, и уж не поднимают его тучное тело кони. У него пегий замызганный пучок бороденки, усы, в которых можно пересчитать каждый волос, на голове жалкая, вечно мокрая лысина, но утопающие в опухоли черные глазки, на ком бы ни остановились, посверкивают презрением: знает старый себе цену.

Весь день сидит Тахтар в юрте, поджав под себя толстые, заплывшие жиром ноги. Когда, кряхтя и посапывая, как огромный казан с кипящей водою, нагибается он к пруту с шашлыком над очагом, между полами просаленного халата вываливается все его грузное тело.

Таким знали его люди еще у Чарыша. Уже в ту пору было ему тяжело двигаться, дышать, но стоило кому-либо заговорить с ним о младшем сыне Тетоне, как весь он подергивался на месте, всхрапывал, шлепал ладонью о кочму, даже пытался подняться на ноги, и его глазки горели ненавистью.

Тахтар богат, у Тахтара тысячи овец и яманов, не один косяк коней. Таких, как Тахтар, на всем Алтае два-три, да и обсчитался. По Чарышу ходили слухи, что мужики-богатеи с чиновниками давно разорили бы его, но у него клады в пещерах: откупается. И вот, при несметном таком богатстве, ни одна овца, ни один конь, ни один кап с доб-

ром не попадет в руки Тетона! Все будет у старшего сына, Магарчы. Магарчы — покорный сын. Он поклоняется богам дедов своих, ладит с отцом и уже прилаживался в помощники зайсану.

А Тетон — худой парень. Он отступил от старой веры, от грозных камов, от того, кто по воле Ульгения — бога жизни — дал ему кровь и плоть.

Родился Тетон четверть века тому назад в долине Канской, на Чарыше. Было это в июле. Трое суток мучилась им Сыган. Старики, соседи по айлу, уговаривали Тахтару справить у одра страдальцы молитвенный обряд шамана перед черным Эрликом, но запросил шаман, по указке будто бы самого бога, слишком дорогое кровоприношение скотом, и отклонил Тахтар из-за лютой своей скупости моление шамана, уехал в горы, к табунам, чтобы не слышать волчьего воя роженицы. А тут как раз подул в горах северяк, выпал по горным маковкам снег, вдруг ни с того ни с сего захолодало, и решил Тахтар, что все это не к добру, а решив так, надумал, — всю жизнь чтоб быть настороже, — назвать девку, если родится такая, яманкадыт — худая баба.

С этою мыслью возвращался Тахтар к себе, на встречу ему выбежала из юрты старая Ботогон, помогавшая роженице, и возвестила, что родился сын, имя же ему — Тетон, что значит семьдесят. Дед новорожденного, первым переступивший порог юрты, имел семьдесят лет, и это осталось на имени нового человека.

Сыган не встала с одра. Тахтар принял старейшего кама-шамана из Ябагана, созвал добрую полсотню гостей. Гости сожрали трех баранов, кам отплясал с бубном благодарственную молитву Ульгению и принес в жертву карающему Эрлику пару рысистых бегунов, а душа роженицы все же покинула землю... И тогда-то Тахтар решил крепко, что этот самый Тетон пришел в его род не для добра.

Так оно впоследствии и случилось.

Подростком Тетон не пропускал ни одного камлания в своем ауле. Он усаживался вблизи кама и не сводил с него глаз, а когда, пьяный страстью, бубен рокотал бешеными призывами к черным духам и воздух вихрем взвивался вокруг кама, гнусаво что-то свое выкрикивающего, мальчонка принимался, восторженно повизгивая, топотать на месте плясовую. И все, кто видел это, говорили Тахтару, что в младшем его сыне зреет большой кам.

Когда Тетону исполнилось шестнадцать весен, почувствовал он на одном из камланий совсем худо себя. «Защелкала душа его», и начало «бить его», и долго лежал он у чужого очага без памяти. Трое суток после того отхаживала больного юная его жена, хрупкая телом, смиренная духом Алтын.

Произошло такое в конце лета. Седую от инея выглядела по утрам долина, студёные горели на западе зори, и покорно осыпала свои иглы лиственница, темнея от зависти к вечно пышным зеленым кедром. Оправившись, привел в порядок Тетон кремневое ружье, отточил нож, взял у брата кедровые ножны и усакал на белом рысаке в горы, к белкам.

Сердце его горело в каком-то неизбежно жутком огне. Тянуло к неизведанному, большому, чудесному... Обежать бы от восхода до заката солнца весь Алтай, с устья Катунь до белоснежного престола духов. Взвиться к зениту неба орленком или подняться на самую маковку той вон скалы и подать оттуда голос так, что нельзя будет не услышать его по всем великим рекам Алтая!..

Постегивал Тетон вразмах коня камчою, летел тот по ржавой каменистой дороге стрелою, грудью разрывая мшистую чашу, прыгая через корневища елей, падая со всего бега в зеленые клочущие волны встречных речек... Забыл Тетон об охоте. Что-то перед ним шмыгало, посверкивало огоньками, хлопало и вдруг вздымалось вверх, — ни разу не вскинул он свой кремневик, ни разу не взялся за нож.

Тянулась дикая чернь... Через ветви, крепко переплетенные, закиданные ключьями сухого лишайника, синело далекими пятнами небо. В зеленом сумраке вздрагивал, косил конь, кидался в сторону перед черными гниющими пнями... Пьянел Тетон в плену одиночества, темных тайн, которыми налиты были мшистые ели, вывороченные корни мертвых пихт, темные глыбы камней, обросших влажным мхом, ключи, невнятно булькавшие в жирных папоротниках... Бросить бы коня, бросить ружье и нож, разодрать одежды и ползти, ползти, извиваясь, в этой дремучей чащобе.

Вдруг на дыбы взвился конь, и в какой-нибудь полсотне локтей от себя увидел Тетон медведя. Зверь поднял волосатую морду над разрытым муравейником, уставился,

не мигая, злыми зелеными глазками на человека. Не страх омрачил голову юноши — бешеная радость. Точно за тем только и летел сюда Тетон, чтобы повстречаться неожиданно с медведем, да так, что даже и ружье выхватить было некогда... В диком хмелю рванул он повод и взревел буйным звериным криком. Медведь ухнул, шарахнулся в сторону и, трусливо угнув голову, скрылся в чаще. Оборвал конь повод и без пути понес вперед, а Тетон, вцепившись в гриву, ревел пьяным криком человека, которому и смерть не в диво.

Много раз всходило и заходило потом солнце, много раз зажигал Тетон костры, спасаясь от крепнувших морозцев. И вот выпал на белках снег. То был сигнал беды, и вернулся Тетон в аил. Не узнал его Тахтар, не узнала молодая Алтын. Весь он поник, погасли его глаза, и уж не трепетали крепкие ноздри юноши. Таким хмурым, унылым, угасшим провел он не одну весну, а почему, с чего — неизвестно. Правда, о ту пору уже стоном стонал Алтай под игом. Нельзя и некуда было убежать от русского богатыря-хлебобора, от русского купца-скотогона, от свирепого русского чиновника. Но всех страшнее были миссионеры. Шли они в дебри, на вершины, забирали в юртах курмежеки — деревянных божков и тащили алтайцев в долины, к своим церквям, к купели и кресту. Мало того, начали служители православия обзаводиться с помощью казны и купцов монастырями, забирая под них лучшие земли. Тот же Чулышманский монастырь овладел тремя тысячами десятин, согнав с единственно пригодных там пастбищ все население кочевников. Как стаи встревоженных птиц, не смея бросить крика, кружили алтайцы в горах над своими аилами, не зная спасения. Духи камов были бессильны. Отшатнулся от своего народа добрый Ульгень. Торжествовало злое, жестокое, все, что шло из тартарары земной, от неумолимого Эрлика. Кровь животных реками лилась на жертвенник этого бога, пудели бубны, бились кругом тысячеустые вопли, а враг надвигался, креп, грозил разрушением всему, что было у народа и чем был он народом алтайским.

Шатались вековые устои, рождалось безверие, немые взоры жгли тех, кто не в силах был превозмочь напасть своими заклинаниями, сонмом своих духов... Торжествовал килинчек — грех, и всюду властвовал кормес — мрачный дьявол.

И вот еще тихо, еще потупя взор, кожончи-поэты начали складывать новые песни, песни ожидания, призыва... И саранчи-певцы ловили едва уловимое, идущее вздохами по долинам, ловили и пели в юртах под унылое бренчанье волосяных струн. Они пели о близком приходе Ойрот-хана, любимого героя народных сказаний.

Был Ойрот последышем Чингис-хана, когда-то царствовавшего на Алтае, и не знал будто бы алтай-кижи при Ойроте ни нужды, ни голода, ни всех нынешних несчастий. И не было будто бы тогда ни бедных, ни обиженных — всех защищал мудрым своим судом великий Ойрот. Но узрел хан надвигавшиеся на родной край бедствия и, страшась позора из-за своего бессилия перед грозными испытаниями, скрылся в неизвестную даль, а уходя объявил, что возвратится, когда пробьет положенный час «Знайте,— завещал он своим подданным,— знайте, что пришествие мое последует вслед за тем, как одна за другой низвергнутся три снежные сопки горы Белухи, водами своими питающей Катунь».

Еще до русско-японской войны облетела горные урочища крылатая весть: полуобвалилась одна из снежных вершин Катунского хребта. А как разразились битвы с японцами и терпел царь за грехи свои лютое поражение за поражением, пала у истоков Катунь вторая снежная маковка, покривилась, сбоченилась, готовясь к тому же, и третья.

Воспрянули тут духом алтайцы, начали готовиться к приходу Ойрот-хана, но окреп в горах новый слух о новом белом божестве — Бурхане, и провозвестники его утверждали, что придет и примет власть Ойрот вместе с принятием алтайцами белой веры... И потянулись взоры всего народа к солнцу, потекли взоры всех гонимых на восток: «Спаси нас, солнечный, согревающий... Приди из ночи кромешной, прими плоть и кровь, спаси и помилуй!» Там, в седых веках, схоронен был не один бог Алтая: боги изживались вместе с горами стареющими, вместе с народом, идущим по пути тернистому. И многое из того, чему поклонялись ранее, было забыто. Осталось только белое и черное, доброе и злое... Истомились люди, опали духом, телом... Зачем море злого и только капля, одна капля доброго?.. Пусть придет бог забытый, бог белый, бог добрый, близкий сердцу несчастных, согревающий бескорыстно, без кровавых жертвоприношений, все людское, как солнце.

Где-то там, в глуши Ябагана, по реке Терем, ходил за скотом безвестный бедный пастух. Имя ему — Чет-Челпан. Где черпал он свою мудрость, у каких источников пил живую воду, никто не ведал. Страстный лепет ожидания поднял этого человека из мирной юрты его, и пошел он к людям. И все, что знал, во что верил, передал из аила в аил, по всему Ябагану. Девушка-подросток, жившая при Чете, то ли родная, то ли духовная его дочь, предстала на белом коне алтайцам, возвещая о белой вере.

Белый бог устами юной отроковицы заговорил с народом:

«Вот я схожу к вам духом живым. Стоны ваши услышаны. Спасайтесь! Я — ваша крепость!..»

«Нет бога злого, кроме доброго — меня. Нет Эрлика, нет его власти. Я и Ульгень — одно нераздельное. Я — солнце. Я — ваша сила. На мне почиет счастливое прошлое ваших прадедов. Я — Бурхан».

И полилась эта весть из урочища в урочище, от реки к реке, от стойбища к стойбищу. Белый бог, бог новой сказки, нового народного самообмана, звал под свою сень, и, покорные ему, люди уничтожали идолов, сжигали бубны, отказывались от кровавых жертв, гнали прочь шаманов.

Белая вера

Будто от сна лихого очнулся Тетон, когда и в их аил дошли вести о новой вере. Толковали всяко. Иные утверждали, что Чет-Челпан много лет был в безвестной отлучке, и, когда вернулся на Алтай, не узнали его: «Весь он тот, да не тот». Девушка, выезжавшая к людям на белом коне, — приемная дочь пророка. От нее идет свет. Бог Бурхан явился ей одной, когда была она в степи, приглядывая за козами... И многое другое говорили люди, но не это тянуло, пленяло Тетона: жаждал он знать о том белом боге, имя которого народные слухи связывали с именем вождя Ойрота, который должен вот-вот явить себя.

Отец Тетона был мрачен. Даже такой тихий и скромный человек, как пожилой Куткы с Гляденя, и тот, придя однажды к Тахтару, чтобы уплатить ему давний долг, рассказал, что он, Куткы, своими глазами видел, как черным вихрем пронесся по вершинам гор бог Эрлик: старый бог покидал Алтай.

— Ну? — грозно прихмурился Тахтар. — Значит, потвоему, бог покинул нас?!

Сосед закивал головою:

— Совсем, совсем убрался Эрлик... Мало-мало рассердился, удрал!..

— Во-о-он! — заорал Тахтар, указывая Кутки на входную щель в юрте. — И чтобы глаз мой не видел тебя во-век!..

Тахтар грозил отступникам старой веры тяжкими карами и так волновался, что бросил есть и пил только горючий чегэнь.

Когда Тетон садился на коня, чтобы скакать к горе Кырлык, в долину Теренг, где назначено было моление беловерцев, Тахтар выкатился из юрты и ухватился за уздцы коня.

— А балам — дитя мое... Ойто — назад!..

Метнулась из юрты и Алтын, с воплем бросилась к мужу.

Но Тетон огрел камчой коня, встал конь на дыбы, старик зашатался, упал...

Оглянувшись, юноша видел, как Алтын припала ниц к земле, а старик, стоя на коленях, грозил вслед кулаком. Боль щелкнула в сердце Тетона, но... такое хрустальное было небо, так сладко веяло навстречу полынным духом, а там, впереди, ждали его еще не изведенные радости... Пригнулся он к коню, ухнул, помчался вперед и с того дня никогда уже не заглядывал в родной аил.

В Усть-Кане, у голубой церкви, Тетон подмахнул к толпе мужиков, запрудивших весь плац перед церковью. Были тут и вооруженные винтовками, по виду — ратники ополчения. У плетней и прясел — немало коней. У паперти, под хоругвями, среди икон, высились двое: один в темной рясе, в огромном белом клобуке на голове и с перламутровым, в алмазах, крестом на груди; другой — в мундире, при погонах на плечах и сабле у бедра. «Не иначе — пристав али сам исправник», — подумал Тетон и, придержав коня, вслушался в то, о чем говорил человек в мундире, угрожающе помахивая над собою перчаткою. Однако разобрать в выкриках мундира можно было только знакомое: «Нехристи, басурмане...»

Тетон повернул в сторону, но десятки рук потянулись к его коню.

— Куда прешь, басурман?!

На одно мгновение, видя перед собою возбужденные,

с дико выпученными глазами лица, Тетон задержал коня: что-то предостерегающе жуткое было и в выражении этих обращенных к нему лиц, и в криках чужих волосатых людей. Но кто-то ухватил его за полу тона, и он не выдержал — вспыхнул гневом, как сухой вереск под пламенем. «Х-э-э!!» — вырвалось у него диким воплем. Вокруг отшатнулись, конь ударил задом и бросился вперед, как тогда, в дремучей чаще, почуяв медведя. И, как тогда, стрелю летел Тетон и вопил изо всех легких — только бы не разорвались... Мимо проплыла, вся розовая, воздушная гора Алмасту, заискрился вдали под солнцем Ябаган. Седой ковыль клонился под ветром, и бесшумно шмыгали у конских копыт рыжие имуранки. Попадались на пути конные алтайцы. Они тянулись со всех сторон, и двое, в алых халатах, с праздничными барашковыми треугольниками на головах, побежали бок о бок с Тетоном.

— Эзень, — кинул тот приветствие.

Один улыбнулся, вскинул руку:

— Э... иакши! Эзень-ок...

И это приветствие по-новому, как учил Чет, обрадовало Тетона. Его все теперь радовало: и полутные алтайцы, и степь, и зеленые горы направо, и розовые скалистые горы налево.

Спугнули журавля, который стоял в осоке у зеркального разлива ключа: вытянув шею, распутив большие серые крылья, плавно поднялся в трепетный солнечный воздух. А вдали уже зеленел холмик Тюромского логовища... Но что же это? Сердце запрыгало в груди Тетона, а на лицах его спутников вспыхнула улыбка. Все логовище было затоплено пестрыми людскими волнами... Свои! Многие сотни алтайцев... Людно, как на ярмарке в Усть-Кане... Еще никогда во все последние два десятка лет не собиралось враз столько алтай-кижи! С холмика, облепленного людьми, над круглой белой кочемной юртой вился к небу сизый дымок... Уже слышались голоса, ржание коней, но — чем ближе, тем яснее чувствовалось, что здесь не ярмарка. Люди сидели кучками, в лучших своих одеждах, со строгими лицами, и даже дети не бегали козами, как обычно, а кротко жались к тонам матерей. Одни из стариков полудневали, другие полулежали у костров и, покачиваясь, напевали вполголоса. Была в тех песнях знакомая унылость, а слова были новые, незнакомые, несслышанные.

Тетон стреножил коня и пошел наверх, к белой юрте, но его остановили: Чет, абай, джарлык, служитель от бога, отдыхает. Тогда Тетон уселся у костра дальних каракольских алтайцев и стал ждать, поглядывая то на бледные язычки огня, борющиеся с солнечными лучами, то по сторонам, на людей. Вот молодая девушка в голубом, с пятью пышными плетями кос. На румянном смуглом лице ее, в полуоткрытых устах, в наивно поднятых тонких бровях светится радостное ожидание. Подле на корточках — старик с открытой грудью, посеребренной пушком; во всем его вытянутом теле настороженность.

Солнце упало за скалы, со стороны Ябагана простерлись тени, но еще не ощущалось их влажного дыхания. Народ зашевелился. На вершине холма подростки, как муравьи, стаскивали в кучу что-то пестрое. Тетону объяснили, что это шаманские одежды, бубны, курмежеки — идолы, которые будут сейчас всенародно преданы огню. Двинулись по холму вверх, стали плечом в плечо, и Тетон застрял среди сплоченных тел. Он поднялся на носки уйдуков своих, откинул голову.

— Джарлык! Абай... — пронеслось в толпе.

— Ак-саргалы — белая невеста...

Тетон за стеною спин и шапок видел лишь кучу бубнов, а над ними — две простертые руки.

Затихли люди. Огненные языки лизали бубны, сизый зыбкий столб дыма кружился, посвистывал.

Молчали все, тая дыхание, будто ожидая гнева старого подземного, ныне отвергаемого Эрлика. Тетон слышал, как бьется его сердце, и кто-то дышал позади неровно, с хрипом в груди.

Сумеречные тени залили логово, но сверху еще струился свет, и через хрустальный недвижимый воздух четко проступала на небосклоне щетина дальней хвойной поросли.

С вершины раздался певуче протяжный голос.

Тетон не слышал сам, но каждое слово, что рождалось там, у костра, передавалось ему, шло из уст в уста, до самого низу.

«...Пусть просыпаются люди! Вот стада их пожирают болезни, пастбища вытаптываются пришлым скотом, реки падают ниже и ниже, а народ уходит выше и выше... Пусть просыпаются...»

— Ийляп — плачу! — эхом отзывались вокруг.

«...Пусть все видят, что эти бубны сгложет огонь, мать

четырехпупная, в пепел... Бубны недвижимы, они не стонут, не лягаются... Черные духи бессильны...»

— Иайдап-иадым — верую! — подхватывали люди.

«Мудрый белый бог несет на землю любовь и радость... Он не будет делать людям напасть, пусть не делают этого и люди: ни себе, ни близким, ни птицам, ни животным...»

— Яндап-сууп — верую, люблю! — стонало логовище.

«Пусть не будет крови животных, белый солнечный бог просит возженного вереска у белой березы и несколько капель молока, только несколько капель... Духом к белому богу надо стремиться и тело держать таким, как березы, омывая лицо и руки на зорях... Пусть спасаются люди!..»

Наверху приумолкли, и Тетон увидел над ворохом горящих бубнов простертые к небу руки, но теперь было их многое множество.

— Ак Бур-р-х-хан!.. — поднялось над толпой протяжным запевом.

Пели все: старики, женщины, подростки, и глухой гул тягучих и прерывных в одно время голосов сплетался в сплошной стон. Казалось, что вся долина ожила и бредила. Так оно и было. Измученные поборами своих и чужих «пауков», теснимые ими, обираемые камами, преследуемые миссионерами, алтайцы искали спасения у нового призрачного защитника. Это был бред тысяч загнанных, исходящих силами душ. Новый бог не требовал в жертву баранов, новый бог не нуждался в камах-взяточниках, новый бог — все так тайно думали — придет на землю с несокрушимой волшебной дубиной и освободит алтай-кижи от купца-стяжателя, от попа с крестом, от урядника и русского царя, что высился белой северной горою над всем живым.

«О, высокая белая северная гора! — пели вокруг, вторя голосу джарлыка. — Долго мы склоняли голову перед тобою... Настало время, когда ты, белая гора, нам больше не владыка!»

— Ак Бурха-а-ан! — всею грудью подхватывал Тетон, чувствуя, как слезы орошают его ланиты и все тело вздрагивает, точно в трясучей лихоманке.

Вдруг вверху оборвались голоса, и тишина, жуткая, густая тишина, потекла книзу, смыкая рты, пригибая руки к земле.

С трех сторон взорвались, загудели чужие, ярые голоса, и померкла алая заря под прикрывшими ее волнами пеших и конных. С гребня прогремело злое, властное:

— Э-гей, э-эй!

Перед глазами Тетона замаячили голубая церковь Усть-Кана, тысячеголовая ватага двуногих с пышащими пьяною злобой лицами «У-ю-юй!» — протянул Тетон в страхе, но голоса своего не услышал. Он схватил одною рукой локоть старика-соседа, другою потыкал в сторону холма, откуда галопом спускались всадники.

— А, кудайым!..

И так, вцепившись в старика, замлел Тетон на месте, уже ничего не соображая, но каждую кровинкой чувствуя, что надвигается нечто непоправимое, неизбежное, как сама смерть... Там, наверху, по холму, и тут, на дне логовища, лежали люди, припали лицом к травам... Что-то в воздухе ухнуло, взорвалось. Тетон сник на колени, а сосед-старик, взметнув руками, грузно уткнулся головой в ноги ему.

Все потемнело перед глазами, что-то пронзительным зудом пронеслось у самого уха.

— Алдачи — смерть!.. — вскрикнул Тетон и пополз ужом, не разбирая куда. Кто-то налетел на него, хватил тяжелым в спину. Он взвизгнул, рванулся и вцепился в руку врага. Его еще ударили... Он цавкнул зубами и погрузился в бездонный мрак.

Как волки, стаей нападающие на овец, праздновали свою силу в логовище Теренг темные русские мужики. Выкресты-алтайцы, подхалимы, пропойцы шныряли всюду, услужливо разыскивая Чет-Челпана и его юную дочь, ярлыкчи, святую пророчицу Бурхана... В стороне покачивались на конях люди в мундирах, дымили папиросками, презрительно поплеывали.

Расправляясь с несчастными, остервенело били их бадиками, дубинами, камнями, и никто из несметной толпы алтайцев не поднял в свою защиту руку... Лежали ниц, оцепенелые, похожие на оглушенных бичами овец. И эта покорность, немота, трухлявая податливость тел разжигали в нападающих свирепость, дикую жажду терзать и мучить...

Там и сям в тихих влажных сумерках бряцала брань, гудели удары, гремели выкрики:

— А-а... бунтовать... так вашу!..

Когда тьма залила до краев логовище, вспыхнули ко-

стры. Тащили с телег у алтайцев баранов и все, что было: чегень, араку, курут.

Пиршествовали.

У серой кучи разодранной палатки лежал связанный Чет, глухо стонал, сплевывал кровью. Его сторожили парни с дубинами, хихикали, дымили из его трубки.

Но еще не сыскали Чогул, дочь Чета.

Толпою шли от алтайца к алтайцу. Пинали, подхватывали на руки, рвали халаты... Гоготали... Наконец:

— Вот она!

Бросились, ступая на тела, взмахивая кулаками.

— Бей ее! Че там...

— Стой, оглядеть надо... Господин пристав! Прикажете?

— Валяй!

Набросились кучей, смяли... Раздалось ликующее:

— Девка!..

Вязали истерзанное покорное тело, тащили куда-то, и тогда тонкие руки четырнадцатилетней девушки качались, как подломанные ветви березы. Алтайцы сидели кучами, дувшись за головы, покачиваясь из стороны в сторону, а когда подходили те со своей живой ношей, падали с воем ниц.

Гикая, заливаясь песнями, разъезжалось с Теренги «ополчение» во главе с людьми в мундирах. Дикое, хмельное разрушало на своем пути юрты, забирало с собою капы, угоняло быков, коней.

Пиршество и грабеж продолжались с неделю. Богатеи со своими приспешниками прибыли из Кана, Чечулихи, Каракола, Онгудая, Катанды, Сентелека, Солонечной. И на всех путях, что вели к этим селениям, не один день и не одну ночь стоял стон алтайцев.

Так северный владыка, более свирепый, чем Эрлик, сколачивая вокруг себя кулаков и подкулачников,правлялся с алтай-кижи.

В глухую полночь

Где-то там, в большом городе, два года томился в темнице Чет-Челпан с дочерью-приемышем и своими видными соратниками по новой вере. А годы те выдались небывалые: поднялась по городам и селам от Белого до Черного

моря и с Запада до Дальнего Востока такая буря гнева народного, что зашатался под царем-самодержцем трон его — вот-вот, казалось, навеки рухнет. И был в ту пору суд над Чет-Челпаном, и признал тот суд, в страхе перед судом народным, безвинным джарлыка Челпана.

Освобожденный, не отступил он от ак-янг—белой веры, продолжал с еще большей страстью вести свою проповедь, стрелы которой нацелены были не только против сородичей-шаманов, а и против пленения Алтая русскими заимщиками-хищниками.

Но оправился царь всея Руси от поражений на внешнем, с японцами, фронте, собрался с силами, да и двинулся в поход с огнем и мечом, тюрьмой и виселицей противу мятежа. И вот вновь — неведомо, надолго ли! — воцарилась жуткая ночь над шестой частью света.

Заглох слух о Чет-Челпане, невесть где и как обитал он, если только вконец не расправились с ним полицейские баи. Не видели люди и пророчествующую отроковицу Чогул, не звенел уже ее голос над склоненными толпами поклонников Бурхана, не горели призывным огнем перед людьми глаза ее. Но вера в белого бога и в хана Ойрота, «освободителя» Алтая, продолжала теплиться в сердцах забитых, измученных, искалеченных страхом алтай-кижи. И росли ряды джарлыков, в снах и видениях призванных к служению народу.

Восемь лет утекло с той тяжелой беды, что стряслась в долине Теренга, но вот от аула к аулу бродил я по Катунь, и всюду встречались мне юрты с деревянными жертвенниками Бурхану. Там, где когда-то стояли курмежеки-идолы, висели чучела зайцев и красные, цвета крови, ленты, — там белели теперь березки.

То, что в столетие не осилила проповедь миссионеров, оказалось подорванной новой верою, «своею» верой в первое же пятилетие, и уже редко где гремел на Алтае бубен кама.

* * *

Слава о джарлыке Тетоне, сыне Тахтара, идет на сотни аулов. Он исцеляет больных, низводит «благодать неб» на скот, приносит Бурхану молитвы народа.

Я встретил его в устьях Кэма, что молочные воды свои катит с ледников Белухи в Катунь. Я встретил его глухою

полночью, в глухой долине, под вековой елью, в юрте неисцелимо больного Алтанбеш-Аксак.

Улаа, неотлучный мой спутник и проводник, ввел меня в юрту, усадил у входа, а сам вернулся к нашим коням. Тетон сидел у очага хмурый, молчаливый и, казалось, пил, вбирал в себя глазами багровое пламя. И два пламени было перед нами, собравшимися в юрте: одно в очаге, другое — в глубине человеческих глаз.

Замерли смуглые острые скулы служителя Бурхана. Темные брови пиявками вытянулись и оцепенели у плоской переносицы, будто вглядываясь друг в друга, колдуя. Только легонько двигались острые углы губ да вздрагивали тонкие ноздри.

Гости перебрасывались словом о чем-то своем, сосали камзы и звучно сплевывали.

Я глядел то на Тетона, то на больного. Алтанбеш-Аксак навсегда безнадежно простудил в долгие зимы на земляном полу юрты свои ноги и не владел ими уже пятый год. Он полулежал, закутанный овчинами, курил камзу в медной оправе и молчал. В корявом испитом лице его, похожем на вышелушенную шишку кедра, засело тупое безразличие, точно не для него собрались тут люди и не за его счастье будет молиться Тетон.

Но вот жарлыку подали чашку с аракой, он испил сам и ложкой через плечо окропил жертвенник Бурхана, желтые и белые ленты над ним, потом жертвенник Сары-Джаик, духа от Бурхана, бога рек и лесов, бога осеннего плодородия.

И встал Тетон, закрыл лицо.

Он был в кафтане из овчины, с лентами на груди и плечах.

Вокруг притихли. Больной застонал, закрыл глаза. Очаг разгорался.

— Ах-х... — вырвалось у Тетона, и вдруг весь он, подняв руки, вытянулся.

— О-о-о!

Голос его был глух и еще тих, но уже вошло что-то в этот глухой вопль тяжелое, большое, выстраданное.

Тетон смолк и всхлипнул, и в этом всхлипывании почувствовалась беспомощность, будто заглянул человек в черную дыру жизни и вдруг проникся тщетностью всяческих надежд.

— Ах-х, Бур-рхан!..

Слова упали робким детским укором.

Я поднял голову, ожидая увидеть в лице джарлыка грусть, жалобу. И вздрогнул. Тетон стоял прямо против меня, заломив руки. Лицо его, мокрое от слез, трепетало в судорогах, расширенные глаза лучились.

И вот раскрылся перекошенный рот, и полились из темной щели его дикие стоны зверя, захлебывающегося болью, страхом, отчаянием. И он не был недвижим, этот раненый загнанный зверь. Он метался над костром, то трепеща в припадке бессилия, то весь выпрямляясь, как гибкий ствол дерева, осиливший удар вихря.

Уже нельзя было выносить этого крика, вобравшего в себя стоны медведицы над разоренною берлогою, клетот подстреленного орленка, последнюю песнь лебедя.

Было гадко, обидно за человека и жутко. Я вышел из юрты. И когда там, под черною елью, ощутил землю, вздрагивавшую под ударами бурных волн Катуня, а человеческий вопль, как коршун, вцепился в мое сердце, вдруг все, что было вокруг меня, стало казаться мне далеким, нелепым сном... И меня охватил стыд: за много дней, проведенных в горах, среди народа Алтая, я не собрался с силами, чтобы всерьез, не отступая, начать борьбу с этим сном, близким к кошмару.

Был я еще молод и располагал не ахти каким житейским опытом, а вокруг — непробудная, казалось, тьма, и власть этой тьмы сторожили урядники, служители креста, владельцы золота... Да, да! Но... разве за тем прибыл я сюда, чтобы вздохнуть и плакаться вместе с несчастным, поруганным Тетоном?..

Я покричал проводнику, чтобы он готовил коней, и вскоре оба мы — я и Улаа — скакали прочь от колдующих стонов кама.

Светало. Где-то в стороне, на перевале, протяжно ревел дикий козел... Мы спускались с гор в долины, и здесь, на попутной лужайке, поросшей тмином, снова заговорил я с Улаа о жесточайшей правде нашего времени: об угнетенных и угнетателях, о той смертельной классовой борьбе, которая происходила на наших глазах в горах, а главное, о той политике порабощения алтай-кижи и других малых народов, которую с незапамятных времен вели самодержцы, всячески содействуя своим интендантам, чиновникам, офицерам и купцам в грабеже «басурман», наживать целые состояния. Говорил я и о цели царского

правительства в деле переселения крестьян на чужие земли, в ту же Сибирь. Цель одна тут — отвести от помещиков угрозу со стороны задыхавшегося в земельной тесноте крестьянства.

Не обошел я молчанием и того, как притесняли, грабили алтай-кижи, высасывая последние у них силы, баи, зайсаны и ханы, а в их ряду и тот же Ойрот, потомок свирепого Чингис-хана.

— Все они,— говорил я,— один другого гаже! Баи да зайсаны — это ж царские приказчики, которые собирают с народа дань... А ваши бывшие ханы — те же наши царисамодержцы, первые крепостники среди крепостников... Ведь это ж они, ханы, распоряжались людьми, как скотиной! И не они ли, ханы, забирали в дань себе у народа зверя, пушнину, даже кандык — съедобные корни дикого растения! И не при ханах ли женщину можно было купить и продать, что тебе овцу... И не ханы ли за грош-алтын скупали у народа их малышей, скупали и угоняли в свой стан с веревкой на шею!..

Улаа слушал, не спуская с меня глаз, и я не сомневался, что из всего, о чем мы вели беседу, было им понятно самое важное: великой беде алтай-кижи не в состоянии помочь ни новый бог Бурхан, ни сказочный Ойрот-хан.

Он понял это, склонив в знак согласия со мною голову, и я решил, что Улаа — надежный помощник в моей работе с алтайцами, а решив это, не отпускал его от себя ни на один день.

Как и раньше, бродили мы в горах, ночевали в долинах и слушали неизбежные жалобы жителей, но теперь, выслушав их, принимался говорить я, и переводчик, остроглазый Улаа, подхватывая мои слова, огненными головешками раскидывал их перед своими сородичами.

К нам примкнул учитель с Катуня, потом один из алтайских грамотеев — молодой парень, обучавшийся на лекаря в Томске. Втроем, при неотступной помощи Улаа, мы подняли на ноги немало алтайцев. Но тут неожиданно меня настигла беда. Мы слишком увлеклись, как бы во все позабыв о том, что наши беседы с алтайцами не могли быть по вкусу ни катандинскому купцу Артамонову, ни становому приставу из Улалы.

Когда я вновь возвратился в Тюдралу, на Черемуховый Ключ, меня поджидал здесь рыжебородый урядник

с двумя сотскими. Меня посадили в таратайку, в ногах увязали мой чемодан, на облучке устроился урядник, а двое с берданками вскочили на коней.

Прощай, звонкоголосый Топчуган, Тасын белогривый, Бачий неугомонный! Меня разлучают с вами, но я знаю, что нет такой силы, которая остановила бы стремительный ваш бег, и не этому рыжебородому с шашкой на боку затоптать мое слово: оно живет в устах Улаа, оно бежит из аула в аул быстрее коня, проворнее рыси, оно неистребимо!..

Наша таратайка грохочет по каменистому грунту. Ошалелые от зноя кузнечики скачут у самых колес, садятся мне на руки, бьют в лицо. Синяя щетина лиственниц, взбирающихся по склонам, дымится гарью. У моих проводников свирепые лица, но я посмеиваюсь: со мною моя молодость, весь Алтай, весь мир угнетенных... Я богаче солнца, сильнее всех богатырей, каких когда-либо знал Алтай: я — разум, я — эхо бури, я — вестовой революции!
